

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 1

1965



Ярослав СМЕЛЯКОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

АЛЕНУШКА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 1

Ярослав СМЕЛЯКОВ

АЛЕНУШКА

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Издательство «ПРАВДА»
Москва. 1965

Ярослав СМЕЛЯКОВ

Ярослав Васильевич Смеляков родился в 1913 году в Луцке в семье железнодорожного весовщика. Закончив московскую семилетку, пошел учиться в полиграфическую школу ФЗУ имени Ильича, потом работал в типографии наборщиком.

Первая книга Я. Смелякова вышла в 1932 году в «Библиотеке «Огонька». Затем последовали сборники: «Работа и любовь» (Гослитиздат, 1932), «Счастье» («Молодая гвардия», 1934), «Кремлевские ели» («Советский писатель», 1947), «Избранные стихи» (Гослитиздат, 1957), «Разговор о главном» («Советский писатель», 1959), «Книга стихотворений» («Художественная литература», 1964) и другие.

Я. Смеляков награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую доблесть».

Ярослав Васильевич Смеляков

АЛЕНУШКА

Редактор — П. КРАВЧЕНКО.

А 01920. Подписано к печати 27/І 1965 г. Тираж 90 000. Изд. № 196.

Зак 3176. Формат бум. 70×108¹/₃₂. Физ. печ. л. 1. Услов. печ. л. 1,37.
Цена 4 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина,
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

НАШ ГЕРБ

Случилось это
в тот великий год,
когда восстал
и победил народ.

В нетопленный
кремлевский кабинет
пришли вожди державы
на Совет.

Сидели с ними
за одним столом
кузнец с жнеей,
ткачиха с батраком.

А у дверей,
отважен и усат,
стоял с винтовкой
на посту солдат.

Совет решил:
— Мы на земле живем
и нашу землю
сделаем гербом.

Пусть на гербе,
как в небе, навсегда
сияет солнце
и горит звезда.

А остальное —
трижды славься труд! —
пусть делегаты
сами принесут.

Принес кузнец
из дымной мастерской
свое богатство —
вечный молот свой.

Тяжелый сноп
в колосьях и цветах
батрак принес
в натруженных руках.

В куске холста
из дальнего села
свой острый серп
крестьянка принесла.

И, сапогами
мерзлыми стуча,
внесла ткачиха
свиток кумача.

И молот тот,
что кузнецу служил,
с большим серпом
Совет соединил.

Тяжелый сноп,
наполненный зерном,
Совет обвил
октябрьским кумачом.

И лозунг наш,
по слову Ильича,
начертан был
на лентах кумача.

Хотел солдат —
не смог солдат смолчать —
свою винтовку
для герба отдать.

Но вождь народов
воину сказал,
чтоб он ее
из рук не выпускал.

С тех пор солдат —
почетная судьба! —
стоит на страже
нашего герба.

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Нам время недаром дается.
Мы трудно и гордо живем.
И слово трудом достается,
и слава добыта трудом.

Своей безусловною властью
от имени сверстников всех
я проклял дешевое счастье
и легкий развеял успех.

Я строил окопы и доты,
железо и камень тесал,
и сам я от этой работы
железным и каменным стал.

Меня — понимаете сами —
чернильным пером не убить,
двумя не прикончить штыками
и в три топора не свалить.

Я стал не большим, а огромным —
попробуй тягаться со мной!
Как Башни Терпения, домны
стоят за моею спиной.

Я стал не большим, а великим.
Раздумье лежит на челе,
как утром небесные блики
на выпуклой голой земле.

Я начал — векам в назиданье —
на поле вчерашней войны
торжественный день созиданья,
строительный праздник страны.

ОДА РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ

О этот русский непрерывный,
приехавший издалека —
среди чинар Таджикистана,
в погранохране и в ЦеКа!

В прорабской временной конторке,
где самый воздух раскален,
он за дощатой переборкой
орет азартно в телефон.

В коммунистической артели,
где Вахш клубится и ревет.
он из отводного тоннеля
наружу камень выдает.

Участник жизни неперменный,
освоив с ходу местный быт,
за шатким столиком пельменной
с друзьями вместе он сидит.

Совсем не ради маскировки,
а после истинных работ
в своей замасленной спецовке
он ест шурпу и пиво пьет.

Высокомерия и лести
и даже признаков того
ни в интонации, ни в жесте
вы не найдете у него.

Не как слуга, не как владыка,—
хоть и подтянут, но открыт —
по-равноправному с таджиком
товарищ русский говорит.

Еще тогда, в году двадцатом,
полузабывшемся вдали,
его винтовка и лопата
тебе, дехканин, помогли.

Потом не раз из дальней дали
на помощь родине твоей
Москва и Волга посылали
своих отцов и сыновей.

Их много, чистых и нечистых,
трудилось тут без лишних слов:
организаторов, чекистов,
учителей и кулаков.

Мы позабыть никак не в силах —
ни старший брат, ни младший брат —
о том, что здесь в больших могилах,
на склонах гор, чужих и милых,
сыны российские лежат.

Апрельским утром неизменно
к ним долетает на откос
щемящий душу запах сена
сквозь красный свет таджикских роз.

РЯЗАНСКИЕ МАРАТЫ

Когда-нибудь, пускай предвзято,
обязан будет вспомнить свет
всех вас, рязанские Мараты,
далеких дней двадцатых лет.

Вы жили истинно и смело
под стук литавр и треск пальбы,
когда стихала и кипела
похлебка классово-борьбы.

Узнав о гибели селькора
иль об убийстве избача,
хватали вы в ночную пору
тулуп и кружку первача

и — с ходу — уезжали сами
туда с наганами в руках.
Ох, эти розвальни и сани
без колокольчика, впопыхах!

Не потаенно, не келейно —
на клубной сцене, прямо тут,
при свете лампы трехлинейной
вершились следствие и суд.

Не раз, не раз за эти годы —
на свете нет тяжелее дел! —
людей от имени народа
вы посылали на расстрел.

Вы с беспощадностью предельной
ломали жизнь на новый лад
в краю ячеек и молелен,
среди бескорыстия и растрат.

Не колебались вы нисколько.
За ваши подвиги страна
вам — равной мерой — выдавала
выговора и ордена.

И гибли вы не в серной ванне,
не от надушенной руки.
Крещенской ночью в черной бане
вас убивали кулаки.

Вы ныне спите величаво,
уйдя от санкций и забот,
и гул забвения и славы
над вашим кладбищем плывет.

УТРЕННЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Я увидел на той неделе,
как по-солдатски, наравне
четыре сверстника в шинелях
копали землю в стороне.

Был так приятен спозаранку
румянец этих лиц живых,
слегка примятые ушанки,
четыре звездочки на них!

Я вспомнил пристально и зорко
сквозь развидневшийся туман
ту легендарную четверку
и возмущенный океан.

С каким героизмом непрерывным
от человечества вдали

солдаты эти с океаном
борьбу неравную вели!

С неиссякаемым упорством,
не позабытым до сих пор,
свершалось то единоборство,
не прекращался тяжкий спор.

Мы сразу их назвали сами,
как разумели и могли,
титанами, богатырями
и чуть не в тоги облекли.

Но вскоре мне понятно стало,
что, обольщавшие сперва,
звучат неверно, стоят мало
высокопарные слова.

И нам случилось удивиться,
увидевши в один из дней
не лики строгие, а лица
своих измученных детей,

обычных мальчиков державы,
сумевших в долгом том пути
жестокый труд и бремя славы
с таким достоинством нести.

ДАЛЬНЯЯ ПОЕЗДКА

Я остался и нежным и резким,
тем, каким меня знали всегда,
но вернулся из дальней поездки
не таким, как уехал туда.

В каждом чуть изменившемся жесте
я невольно ответно сберег
продолжение всех путешествий,
повороты и локти дорог.

Из дорожных моих впечатлений
ничего не пропало вдали,
и на лоб полуясные тени
для других незаметно легли.

Двери в собственный дом открывая,
надевая в передней пальто,
непривычно в себе ощущаю
путешествие дальнее то.

НА ПОВЕРКЕ

Бывают дни без фейерверка,
когда огромная страна
осенним утром на поверке
все называет имена.

Ей надо собственные силы
ума и духа посчитать.
Открылись двери и могилы,
разъяслась тьма, отверзлась гладь.

Притихла ложь, умолкла злоба,
прилежно вытянулась спесь.
И Лермонтов встает из гроба
и отвечает громко: «Здесь».

О этот Лермонтов опальный,
сын нашей собственной земли,
чья строки, как удар кинжальный,
под сердце самое вошли!

Он, этот Лермонтов могучий,
сосредоточась, добр и зол,
как бы светящаяся туча
по небу русскому прошел.

ПРОПАГАНДА

К нам несут провода
дальний гул революций.
Мы не лезем туда:
там без нас обойдутся.

Но, однако, не прочь —
русской полною мерой —

пропагандой помочь,
поделиться примером.

Всей земле трудовой,
от пустынь до Европы,
посылаем мы свой
исторический опыт.

Страны южной жары,
знают Куба и Чили,
на кого топоры
наши деды точили.

Средь светящейся тьмы
вдоль Руси деревянной
сотрясались холмы,
словно ваши вулканы.

Не у волжских высот,
не в родимой сторонке —
Стенька Разин плывет
по реке Амазонке.

ДАЕШЬ!

Купив на попутном вокзале
все краски, что были, подряд,
два друга всю ночь рисовали,
пристроясь на полке, плакат.

И сами потом восхищенно,
как знамя пути своего,
снаружи на стенке вагона
приладили молча его.

Плакат удался в самом деле:
мне были как раз по нутру
на фоне тайги и метели
два слова: «Даешь Ангору!»

Пускай, у вагона помешкав,
всего не умея постичь,

зевачи глазеют с усмешкой
на этот пронзительный клич.

Ведь это ж не им на потеху
по дальним дорогам страны
сюда докатилось, как эхо,
словечко гражданской войны.

Мне смысл его дорог ядреный,
желанна его красота.
От этого слова бароны
бежали, как черт от креста.

Ты сильно его понимала,
тридцатых годов молодежь,
когда беззаветно орала
на митингах наших: «Даешь!»

Винтовка, кумач и лопата
живут в этом слове большом.
Ну что ж, что оно грубовато,—
мы в грубое время живем.

Я против словечек соленых,
но рад побрататься с таким:
ведь мы-то совсем не в салонах
историю нашу творим.

Ведь мы и доньше, однако,
живем, никого не боясь.
Под тем восклицательным знаком
Советская власть родилась!

Наш поезд все катит и катит,
с дороги его не свернешь,
и ночью горит на плакате
воскресшее слово «Даешь!».

ПРИЗЫВНИК

Под пристани гомон прощальный
в селе, где обрыв да песок,
на наш пароходик недалний
с вещичками сел паренек.

Он весел, видать, и обижен,
доволен и вроде как нет,—
уже под машинку острижен,
еще по-граждански одет.

По этой-то воинской стрижке,
по блеску сердитому глаз
мы в крепком сибирском парнишке
солдата признали сейчас.

Стоял он на палубе сиро
и думал, как видно, что он
от прочих речных пассажиров
незримо уже отделен.

Он был одинок и печален
среди интересов чужих:
от жизни привычной отчалил,
а новой еще не достиг.

Не знал он, когда между нами
стоял с узелочком своим,
что армии Красное знамя
уже распростерлось над ним.

Себя отделив и принизив,
не знал он, однако, того,
что слава сибирских дивизий
уже осенила его.

Он вовсе не думал, парнишка,
что в штатской одежде у нас
военные красные книжки
тихонько лежат про запас.

Еще понимать ему рано,
что связаны службой одной
великой войны ветераны
и он, призывник молодой.

Поэтому, хоть небогато —
нам не с чего тут пировать,—
мы, словно бы младшего брата,
решили его провожать.

Решили хоть чуть, да отметить,
хоть что, но поставить ему.
А что мы там пили в буфете,
сейчас вспоминать ни к чему.

Но можно ли, коль без притворства,
а как это есть, говорить,
каким-нибудь клюквенным морсом
солдатскую дружбу скрепить?

ЗЕМЛЯНИКА

Средь слабых луж и предвечерних бликов
на станции, запомнившейся мне,
две девочки с лукошком земляники
застенчиво стояли в стороне.

В своих платишках, стиранных и старых,
они не зазывали никого,
два маленькие ангела базара,
не тронутые лапами его.

Они об этом думали едва ли,
хозяйечки светающих полян,
когда с недетским тщаньем продавали
ту ягоду по два рубля стакан.

Земли зеленой тоненькие дочки,
сестренки перелесков и криниц,
и эти их некрепкие кулечки
из свернутых тетрадных страниц,

где тихая работа семилетки,
свидетельства побед и неудач,
и педагога красные отметки
под кляксами диктантов и задач...

Проехав чуть не половину мира,
держа рублевки смятые в руках,
шли прямо к их лукошку пассажиры
в своих пижамах, майках, пиджаках.

Не побывав на маленьком вокзале,
к себе кулечки бережно прижав,

они, заметно пообрев, влезали
в уже готовый тронуться состав.

На этот раз, не поддаваясь качке,
на полку забираться я не стал —
ел ягоды.

И хитрые задачки
по многу раз пристрасно проверял.

В ДОРОГЕ

Шел поезд чуть ли не неделю.
За этот долгий срок к нему
привыкнуть все уже успели,
как к общежитью своему.

Уже опрятные хозяйки,
освоясь с поездом сполна,
стирали в раковинах майки
и вышивали у окна.

Уже как важная примета
организации своей
была прибита стенгазета
в простенке около дверей.

Своя мораль, свои словечки,
свой немудреный обиход.
И, словно где-то на крылечке,
толпился в тамбуре народ.

Сюда ребята выходили
вести солидный разговор
о том, что видели, как жили,
да жечь нещадно «Беломор».

Здесь пели плотные подружки,
держась за поручни с бочков,
самозабвенные частушки
под дробь высоких каблучков.

...Как раз вот тут-то между нами,
весь в угле с головы до ног,

блестя огромными белками,
возник внезапно паренек.

Словечко вставлено не зря же —
я к оговоркам не привык,—
он не вошел, не влез и даже
не появился, а возник.

И потеснился робко в угол,
как надо думать, оттого,
что в толчее мельчайший уголь
с одежды сыпался его.

Через минуту, к общей чести,
все угадали без труда:
он тоже ехал с нами вместе
на Ангару, в Сибирь, туда.

Но только в виде подготовки
бесед отнюдь не посещал
и никакой такой путевки
ни от кого не получал.

И на разубранном вокзале,
сквозь полусвет и полутьму,
его друзья не целовали
и туша не было ему.

Какой уж разговор об этом!
Зачем лукавить и ханжить?
Он даже дальнего билета
не мог по бедности купить.

И просто ехал верным курсом
на крыше, в угольной пыли,
то ль из орловской, то ль из курской,
мне не запомнилось, земли.

В таком пути трудов немало.
Не раз на станции большой
его милиция снимала
и отпускала: бог с тобой!

И он, чужих чураясь взглядов,
сторонкой обходя вокзал,

как будто это так и надо,
опять на крышу залезал.

И снова на железной койке
дышал осадками тепла.
Его на север жажда стройки,
как одержимого, влекла.

Одним желанием объятый,
одним движением томим...
Так снилась в юности когда-то
Магнитка сверстникам моим.

В его глазах, таких открытых,
как утром летнее окно,
ни зависти и ни обиды,
а дружелюбие одно.

И никакого беспокойства
и от расчета — ничего.
Лишь ожидание героизма
и обещание его.

ЯГНЕНОК

От пастбищ, высушенных жаром,
в отроги, к влаге и траве,
теснясь нестройно, шла отара
с козлом библейским во главе.

В пыли дорожной, бел и тонок,
до умиления мил и мал,
хромой старательный ягненок
едва за нею попевал.

Нетрудно было догадаться:
боялся он сильнее всего
здесь, на обочине, остаться
без окруженья своего.

Он вовсе не был одиночкой,
а представлял в своем лице
как бы поставленную точку
у пыльной повести в конце.

ПРЯХА

Раскрашена розовым палка,
дощечка сухая темна.
Стучит деревянная прялка.
Старуха сидит у окна.

Бегут, утончаясь от бега,
в руке осторожно гудя,
за белою ниткою снега
весенняя нитка дождя.

Ей тысяча лет, этой пряхе,
а прядей не видно седых.
Работала при Мономахе,
при правнуках будет твоих.

Ссыпается ей на колени
и стук партизанских колес,
и пепел сожженных селений,
и желтые листья берез.

Прядет она ветер и зори,
и мирные дни и войну,
и волны свободные моря,
и радиостанций волну.

С неженскою гордой любовью
она не устала сучить
и нитку, намокшую кровью,
и красного знамени нить.

Декабрь сменяется маем,
цветы окружают жилье,
идут наши дни, не смолкая,
сквозь темные пальцы ее.

Суровы глаза голубые,
сияние молний в избе.
И ветры огромной России
скорбят и ликуют в трубе.

МАМА

Добра моя мать. Добра, сердечна.
Приди к ней — увенчанный и увечный —
делиться удачей, печаль скрывать —
чайник согреет, обед поставит,
выслушает, ночевать оставит:
сама — на сундук, а гостям — кровать.

Старенькая. Ведь видала виды,
знала обманы, хулу, обиды.
Но не пошло ей ученье впрок.
Окна погасли. Фонарь погашен.
Только до позднего в комнате нашей
теплится радостный огонек.

Это она над письмом склонилась.
Не позабыла, не поленилась —
пишет ответы во все края:
кого — пожалеет, кого — поздравит,
кого — подбодрит, а кого — поправит.
Совесть людская. Мама моя.

Долго сидит она над тетрадкой,
отодвигая седую прядку
(дельная — рано ей на покой),
глаз утомленных не закрывая,
ближних и дальних обогревая
своею лучистой добротой.

Всех бы приветила, всех сдружила,
всех бы знакомых переженила.
Всех бы людей за столом собрать,
а самой оказаться — как будто! — лишней,
сесть в уголок и оттуда неслышно
за шумным праздником наблюдать.

Мне бы с тобою все время ладить,
все бы морщинки твои разглаживать.
Может, затем и стихи пишу,
что, сознавая мужскую силу,
так, как у сердца меня носила,
в сердце своем я тебя ношу

* * *

Мальчики, пришедшие в апреле
в шумный мир журналов и газет,
здорово мы все же постарели
за каких-то три десятка лет.

Где оно, прекрасное волнение,
острое, как потаенный нож,
в день, когда свое стихотворенье
ты теперь в редакцию несешь?

Ах, куда там! Мы ведь нынче сами,
важно въехав в загородный дом,
стали вроде бы учителями
и советы мальчикам даем.

От меня дорожкой зеленой,
источая ненависть и свет,
каждый день уходит вознесенный
или уничтоженный поэт.

Он ушел, а мне не стало лучше.
На столе — раскрытая тетрадь.
Кто придет и кто меня научит,
как мне жить и как стихи писать?

* * *

Если я заболею,
к врачам обращаться не стану,
обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.

Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой.
Если ранят меня в справедливых боях,
забинтуйте мне голову
горной дорогой
и укройте меня

одеялом
в осенних цветах.

Порошков или капель не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь, серебро водопада —
вот чем стоит лечить.

От морей и от гор
так и веет веками,
как посмотришь — почувствуешь:
вечно живем.
Не облатками белыми
путь мой усеян, а облаками
Не больничным от вас ухожу коридором,
а Млечным Путем.

ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА ЛИДА

Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветет.
Хорошая девочка Лида
на улице Южной живет.

Ее золотые косицы
затянуты, будто жгуты.
По платью, по синему ситцу,
как в поле, мелькают цветы.

И вовсе, представьте, неплохо,
что рыжий пройдоха апрель
бесшумной пыльюю веснушек
засыпал ей утром постель.

Не зря с одобреньем веселым
соседи глядят из окна,
когда на занятия в школу
с портфелем проходит она.

В оконном стекле отражаясь,
по миру идет не спеша
хорошая девочка Лида.
Да чем же она хороша?

Спросите об этом мальчишку,
что в доме напротив живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает.

Недаром на каменных плитах,
где милый ботинок ступал,
«Хорошая девочка Лида»
в отчаянье он написал.

Не может людей не растрогать
мальчишки упрямого пыл.
Так Пушкин влюблялся, должно быть,
так Гейне, наверно, любил.

Он вырастет, станет известным,
покинет пенаты свои.
Окажется улица тесной
для этой огромной любви.

Преграды влюбленному нету:
смущенье и робость — вранье!
На всех перекрестках планеты
напишет он имя ее.

На полюсе Южном — огнями,
пшеницей — в кубанских степях,
на русских полянах — цветами
и пеной морской — на морях.

Он в небо залезет ночное,
все пальцы себе обожжет,
но вскоре над тихой землею
созвездие Лиды взойдет.

МИЛЫЕ КРАСАВИЦЫ РОССИИ

В буре электрического света
умирает юная Джульетта.

Праздничные ярусы и ложи
голосок Офелии тревожит.

В золотых и темно-синих блестках
Золушка танцует на подмостках.

Наши сестры в полутемном зале,
мы о вас еще не написали.

В блиндажах подземных, а не в сказке
наши жены примеряли каски.

Не в садах Перро, а на Урале
вы золою землю удобряли.

На носилках длинных под навесом
умирали русские принцессы.

Возле, в государственной печали,
тихо пулеметчики стояли.

Сняли вы бушлаты и шинели,
старенькие туфельки надели.

Мы еще оденем вас шелками,
плечи вам согреем соболями.

Мы построим вам дворцы большие,
милые красавицы России.

Мы о вас напишем сочиненья,
полные любви и удивленья.

ОПЯТЬ НАЧИНАЕТСЯ СКАЗКА

Свечение капсуль и пляска.
Открытое ночью окно.
Опять начинается сказка
на улице, возле кино.

Не та, что придумана где-то,
а та, что течет надо мной,
сопутствует мраку и свету,
в пыли существует земной.

Есть милая тайна обмана,
журчащее есть волшебство
в струе городского фонтана,
в цветных превращениях его.

Я, право, не знаю, откуда
свергаются тучи, гудя,
когда совершается чудо
шумящего в листьях дождя.

Как чаша содружества брагой,
московская ночь до окна
наполнена темною влагой,
мерцанием капель полна.

Мне снова сегодня семнадцать.
По улицам детства бродя,
мне нравится петь и смеяться
под зыбкою кровлей дождя.

Я вновь осенен благодатью
и встречу сегодня впотьмах
принцессу в коротеньком платье
с короной дождя в волосах.

АЛЕНУШКА

У моей двоюродной
сестрички
твердый шаг
и мягкие косички.

Аккуратно
платьице пошито.
Белым мылом
лапушки помыты.

Под бровями
в солнечном покое
тихо светит
небо голубое.

Нет на нем ни облачка,
ни тучки.
Детский голос.
Маленькие ручки.

И повязан крепко,
для примера,
красный галстук —
галстук пионера.

Мы храним —
Аленушкино братство —
нашей Революции
богатство.

Вот она стоит
под небосводом,
в чистом поле,
в полевом венке,
против вашей
статуи Свободы
с атомным светильником
в руке.

ПОЭТЫ

Я не о тех золотоглавых
певцах отеческой земли,
что пили всласть из чаши славы
и в антологии вошли.

И не о тех полузаметных
свидетелях прошедших лет,
что все же на листах газетных
оставили свой слабый след.

Хочу сказать хотя бы сжато
про тех, что, тщанью вопреки,
так и ушли, не напечатав
одной-единственной строки.

В поселках и на полустанках
они — средь шумной толчеи —

писали на служебных бланках
стихотворения свои.

Над ученической тетрадкой,
в желанье славы и добра
вздыхая горестно и сладко,
они сидели до утра.

Неясных замыслов величье
их души собственные жгло,
но сквозь затор косноязычья
пробиться к людям не могло.

Поэмы, сложенные в спешке,
читали с пафосом они
под полускрытые усмешки
их сослуживцев и родни.

Ах, сколько их прошло по свету
от тех до нынешних времен,
таких неузнанных поэтов
и нерасслышанных имен!

Всех бедных братьев, что к потомкам
не проложили торный путь,
считаю долгом пусть негромко,
но благодарно помянуть.

Ведь музы Пушкина и Блока,
найдя подвал или чердак,
их посещали ненароком,
к ним забегали просто так.

Их лбов таинственно касались,
дарили две минуты им
и, улыбнувшись, возвращались
назад. к властителям своим.

ПЕРВАЯ ПОЛУЧКА

Как золотящаяся тучка,
какую сроду не поймать,
мне утром первая получка
сегодня вспомнилась опять.

Опять настойчиво и плавно
стучат машины за стеной,
а я, фабзавучник недавний,
стою у кассы заводской.

И мне из тесного оконца
за честный и нелегкий труд
еще те первые червонцы
с улыбкой дружеской дают.

Мне это вроде бы обычно,
и я, поставя росчерк свой,
с лицом, насильно безразличным,
ликуя, их несу домой.

С тех пор не раз — уж так случилось,
тут вроде нечего скрывать —
мне в разных кассах приходилось
за песни деньги получать.

Я их писал не то чтоб кровью,
но все же времени черты
изображал без суесловья
и без дешевой суеты.

Так почему же нету снова
в день гонорара моего
не только счастья заводского,
но и достоинства того?

Как будто занят пустяками
среди дел суровых и больших,
и вроде стыдно жить стихами,
и жить уже нельзя без них.

* * *

Приезжают в столицу
смирненно и бойко
молодые Есенины
в красных ковбойках.

Поглядите,
оставив предвзятые толки,
как по-детски подрезаны
наглые челки.

Разверните,
хотя б просто так,
для порядка,
их измятые в дальней дороге
тетрадки.

Там
на фоне безвкусицы и дребедени
ослепляющий образ
блеснет на мгновенье.

Там
среди неумелой житейской мороки
вдруг возникнут
почти гениальные строки.

...Пусть придет к ним
потом, через годы, по праву
золотого Есенина
звонкая слава.

— Дай лишь бог,— говорю я,
идя стороною,—
чтобы им,
извините меня за отсталость,
не такую она доставалась ценою,
не такую ценою она доставалась.

СТОЛОВАЯ НА ОКРАИНЕ

Люблю рабочие столовки,
весь их бесхитростный уют,
где руки сильные неловко
из пиджака или спецовки
рублю и трешки достают.

Люблю войти вечерним часом
в мирок, набитый жизнью, тот,
где у окна стеклянной кассы
теснится правильный народ.

Здесь стены вовсе не богаты,
на них ни фресок, ни ковров —
лишь розы плоские в квадратах
полуискусных маляров.

Несут в тарелках борщ горячий,
лапша кольшется, как зной,
и пляшут гривеннички сдачи
перед буфетчицей одной.

Тут, взяв, что надо, из окошка,
отнюдь не кушают — едят,
и гнутся слабенькие ложки
в руках окраинных девчат.

Здесь, обратя друг к дружке лица,
нехитрый пробуя салат,
из магазина продавщицы
в халатах синеньких сидят.

Сюда войдет походкой спорой,
самим собой гордясь в душе,
в таком костюмчике, который
под стать любому атташе,
в унтах, подвернутых, как надо,
с румянцем крупным про запас
рабочий парень из бригады,
что всюду славится сейчас.

Сюда торопятся подростки,
от нетерпенья трепеща,
здесь пахнет хлебом и известкой,
здесь дух металла и борща.

Здесь все открыто и понятно,
здесь все отмечено трудом,
мне все близки и все приятны,
и я не лишний за столом.

ПРИЗНАНИЕ

Не в смысле каких деклараций,
не пафоса ради, ей-ей,
мне хочется просто признаться,
что очень люблю лошадей.

Сильнее люблю, по-другому,
чем разных животных иных...
Не тех кобылиц ипподрома,
солисток трибун беговых.

Не тех жеребцов знаменитых,
что — это считая за труд —
на дьявольских пляшут копытах
и, как оглашенные, ржут.

Не их, до успехов охочих,
блистающих славой своей,—
люблю неказистых, рабочих,
двужильных кобыл и коней.

Забудется нами едва ли,
что вовсе в недавние дни
всю русскую землю пахали
и жатву свозили они.

Недаром же в старой России,
пока еще памятной нам,
старухи по ним голосили,
почти как по мертвым мужьям.

Их есть и теперь по Союзу
немало в различных местах,
таких кобыленок кургуzych
в разбитых больших хомутах.

Недели не знавшая праздной,
прошедшая сотни работ,
она и сейчас безотказно
любую поклажу свезет.

Но только, в отличие от прежней,
косясь, не шархнется вбок,

когда на дороге проезжей
раздастся победный гудок.

Свой путь уступая трехтонке,
права понимая свои,
она оглядит жеребенка
и трудно свернет с колеи.

Мне праздника лучшего нету,
когда во дворе дотемна
я смутно работницу эту
увиджу зимой из окна.

Я выйду из душной конторки,
заранее радуясь сам,
и вынесу хлебные корки,
и сахар последний отдам.

Стою с неумелой заботой,
ослабив улыбкою рот,
и глупо шепчу ей чего-то,
пока она мирно жует.

СОДЕРЖАНИЕ

Наш герб	3
Мое поколение	5
Ода русскому человеку	6
Рязанские Мараты	7
Утреннее стихотворение	8
Дальняя поездка	9
На поверке	10
Пропаганда	10
Даешь!	11
Призывник	12
Земляника	14
В дороге	15
Ягненок	17
Пряха	18
Мама	19
«Мальчики, пришедшие в апреле...»	20
«Если я заболею...»	20
Хорошая девочка Лидя	21
Милые красавицы России	22
Опять начинается сказка	23
Аленушка	24
Поэты	25
Первая получка	26
«Приезжают в столицу...»	27
Столовая на окраине	28
Признание	30

**ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ КНИГИ,
выпущенные Издательством
географической литературы**

Антарктика. 1958. 445 стр. Цена 1 р. 62 к.

Сборник содержит материалы об истории открытия и исследования Антарктики, о ее геологическом и геоморфологическом строении, оледенении и водах Южного Ледовитого океана.

АНУЧИН Д. Люди зарубежной науки и культуры. 1960. 230 стр. Цена 97 коп.

Автор — всемирно известный русский ученый начала XX века. Его очерки рассказывают о Галилее, Гумбольдте, Дарвине, Нансене, Скотте и других прославленных деятелях науки.

АЛЕКСАНДРОВ Н. Морями теплыми омытая. 1964. 128 стр. Цена 24 коп.

Автор рассказывает о своих встречах с простыми людьми Индонезии, об обычаях народов этой страны.

БОРХГРЕВНИК К. У Южного полюса. Год 1900-й. (Перевод с норвежского.) 1958. 326 стр. Цена 1 р. 15 к.

Автор книги, норвежец, был первым человеком, ступившим на землю Антарктиды. Он основал на Южном континенте первую научную годовую зимовку, о суровом быте и научных работах которой повествует книга.

БУРЛАКА П. Меж Тиссой и Дунаем. 1959. 72 стр. Цена 11 коп.

Эта книга рассказывает о природе страны, о жизни и труде в социалистической Венгрии.

БУГЕНВИЛЬ Л. Кругосветное путешествие на фрегате «Будез» и транспорте «Этуаль». (Перевод с французского.) 1961. 358 стр. Цена 1 р. 37 к.

Приобретайте эти книги в магазинах книготорга и потребительской кооперации. Заказы можно также направлять по адресу: Москва, Е-46, Энергетическая ул., 8, корп. 2, отдел «Книга — почтой» магазина № 104 Москниги. Книги будут высланы наложенным платежом без задатка.

«СОЮЗКНИГА»